



АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

СУФИЙНАЯ  
МУДРОСТЬ

## ОЧАРОВАННЫЙ СЛОВОМ

*Н.Ю.Грякалова*

Стихия Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957) — сказ. Пересказать сказку, сон, апокриф, житие, наконец, свою собственную жизнь — *рас-сказывание* стало смыслом его писательского бытия. Творчество Ремизова — это странствование по земле русской словесности. Неважно, что вдохновило писателя в данный момент: зырянская свадебная заплачка или кельтская легенда, индийская «Панчатантра» или жизнеописания знаменитых шейхов-суфиев, — прислушиваясь к голосам, доносящимся из глубины веков, он перелагал их «по-русски, русскими ладами». «Лад» — звучание души народа», — повторял писатель, и «чудесное» виделось ему даже не в словах, а в напевности, в природном ладе живой русской речи. Услышать и пересказать своим словом, своим голосом то, что уже было однажды сказано, а «придут другие люди, другое услышат и скажут другими словами» [1]. Отсюда его любовь к работе «по матерьялам», «по сказанному, вековому откровению», в котором живет народная правда и народная мудрость и в образах которого воссоздается непрерывность человеческого существования на земле.

За свою долгую писательскую жизнь Ремизов издал 82 книги, из них 45 — в годы эмиграции. 7 августа 1921 г. писатель навсегда покинул Россию и, после недолгого пребывания в Берлине, «завекоевал в Париже», приехав туда 5 ноября 1923 г. Свое бытие писателя-эмигранта Ремизов трагично воспринимал как «расколотое» и в чужом языковом окружении вдруг особенно остро почувствовал свою «русскость». Он не уставал прислушиваться к голосу русской земли, и по-прежнему русский фольклор, древнерусская книжность, писцовые книги XVI-XVII вв. питали его творчество. А если обращался к западноевропейскому эпосу или памятникам Востока, то «озвучивал» их ладом русской речи.

В середине 1920-х гг. к русскому писателю, живущему на европейском берегу, Россия обернулась новым своим ликом — «евразийским». Он сближается с парижской группой деятелей евразийского движения: журнал «Версты» (под редакцией Д.П.Святополк-Мирского, П.П.Сувчинского, С.Я.Эфрона; 1926-1928), печатный орган евразийцев, издавался «при ближайшем участии А.Ремизова», как было указано в анонсе, и охотно

предоставлял свои страницы писателю. С одним из редакторов журнала, музыковедом Сувчинским, Ремизов был знаком еще по Берлину и дружеские отношения с ним поддерживал до конца жизни. У истоков евразийского движения, вызвавшего интерес литературно-философской общественности и отклик среди эмигрантской молодежи, стояли крупные интеллектуальные силы: Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, П.Н.Савицкий, Г.В.Флоровский, Д.П.Святополк-Мирской, П.П.Сувчинский и др. Суть евразийства — в утверждении нового взгляда на Россию как на самобытную духовную сущность и особый исторический организм. Необозримые пространства трех равнин (Восточно-Европейской, Западно-Сибирской и Туркестанской), окаймленных горами, и соседство с «тайновидческим» Востоком определили особый духовный и мыслительный склад русского человека, прежде всего его жажду внутренней свободы, душевную широту и открытость, склонность к созерцательности и творческому самовыражению. «Для подвига индивидуального самораскрытия, — писал Г.В.Флоровский, впоследствии радикально разошедшийся с евразийством, — было слишком шумно на «форуме» европейской жизни. Для этого более подходили созерцательные обители православного Востока и девственные степи и дремучие леса Русской равнины; здесь, действительно, мог человек чувствовать себя наедине с Богом» [2].

Ремизов сочувствовал евразийскому «исходу к Востоку». Можно допустить, что его не отпугивал и один из основных «идеологических» тезисов евразийцев: признание свершившейся революции как исторической судьбы России. Хотя дальнейшая политизация течения, его откровенный «пробольшевизм», лишившие движение симпатии и поддержки интеллигенции, не могли не оттолкнуть от него и Ремизова, человека, крайне далекого от идеологии и охотно включавшегося в любые «игры», кроме политических. То, что в евразийстве стало предметом теоретизирования и отлилось в форму дефиниций, писателю-мифотворцу открывалось в творческом наитии и интуитивном знании. Не надо забывать, что писательская молодость Ремизова прошла в символическом окружении, где вынашивался «миф о России» — духовной субстанции, «женственной стихии», которая, преображенная божественным Логосом, сыграет провиденциальную роль в судьбах мира. Не это ли мистериальное событие — построение Града Божьего — пророчески угадано Ремизовым в книге «Звенигород Окликанный» (1923), в разделе, посвященном картинам Н.К.Рериха? Неудивительно поэтому, что в возобновившемся споре о ценностном приоритете между Востоком и Западом Ремизов был на стороне тех, кто отдавал предпочтение Востоку — России, хранительнице духовного опыта, завещанного веками, и пафоса высокого нравственного деяния.

Возможно, в кругу евразийцев и встретился Ремизов с востоковедом В.П.Никитиным, которому суждено было стать вдохновителем последнего творческого замысла писателя и неустанным помощником в его осуществлении.

Мемуаристы, повествующие о последних годах жизни писателя, упоминают о работе Ремизова над книгой «Суфийная мудрость». По словам

Н.В.Резниковой, тесно общавшейся с писателем и ставшей после его смерти душеприказчиком, в книгу должны были войти «сказанья секты Суфи, тексты которых переводил с персидского сосед, востоковед В.П.Никитин» [3]. Близкий друг и ученица Ремизова Н.В.Кодрянская также сообщает, что «в 1956 году Алексей Михайлович <...> работал над суфийской мудростью. Из этого материала зазвучат на русские лады сказки <...>. Материалы А.М. доставал и переводил с арабского и персидского его долгодетный друг и сосед ориенталист В.П.Никитин» [4]. Однако книги под таким названием у Ремизова не было. Речь идет немного о другом: о сборнике сказок «Павлиньим пером», последней книге, подготовленной писателем к изданию, но оставшейся в рукописи. В ее основе — осуществленные Ремизовым обработки сказок народов Востока (татарские, кабыльские, тибетские), но представлены в ней и сказки Прикарпатской Руси, и древнерусские житийные повествования («Повесть о Петре и Февронии»), и сказания, восходящие к апокрифам («Авраам»). Завершает книгу раздел «Суфийная мудрость». Сюда вошли жизнеописания знаменитых суфиев («Рабийя», «Сказание о шейхе Баязиде», «Зун-Нун»), назидательные истории о достопамятных встречах наставника правоверных Хасана Басрийского («Грешник — пьяница — дитя — женщина»), персидская версия басни из средневекового арабского памятника «Калила и Димна» («Желвь и утки»), эпизоды из жизни магометанского тайноведа («Джафар Садэг»), изречения мусульманского аскета Бишра Босоногого («Бишр Хафи»). Историко-филологическим и биографическим комментарием к разделу должно было стать «Объяснительное слово к “Суфийной мудрости”», написанное В.П.Никитиным.

Пришло время представить читателю этого незаурядного человека. Василий Петрович Никитин, изветный ученый-ориенталист, профессор Школы восточных языков в Париже, родился 1 января 1885 г. в Сосновце (Польша). По его собственному признанию, он рано увлекся Востоком и рано сделал профессиональный выбор: в 1904 г. стал студентом Лазаревского института восточных языков в Москве [5]. С 1915 г. Никитин — на дипломатической службе, являясь секретарем генерального консульства России в Персии. В июле 1919 г. он переезжает в Париж, навсегда связав свою жизнь с Францией. Сфера востоковедных интересов Никитина — Иран, его история, культура, литература. Большую известность принесли Никитину его исследования, посвященные курдам. В центре обобщающего труда ученого «Les Kurdes. Etude sociologique et historique» (Paris, 1956) [6] — проблемы происхождения этого народа, его религиозные верования, лингвистические и социально-этнографические аспекты курдологии. Несомненный интерес представляет его очерк «Русский дервиш» о пребывании поэта Велимира Хлебникова в Иране, опубликованный в Тегеране в 1955 г. В 1924 г. Никитин был избран членом Азиатского общества в Париже, в 1933 г. — иностранным членом Польского ориенталистического общества. Как признанный научный авторитет он входил в редколлегии ряда востоковедческих изданий, являлся членом Международного антропологического института, действительным членом международной дипломатической академии. Скончался ученый в 1960 г.

В 1920-е годы Никитин примкнул к евразийству, и его имя можно было встретить на страницах евразийских периодических изданий. О своих настроениях этого времени он писал в автобиографических заметках: «Я охвачен евразийскими пространствами <...>. Среди моих немногочисленных русских сочинений мое любимое — «Иран, Турция и Россия», сочинение, в котором я подчеркиваю евразийские черты нашего национального характера: турецкая кочевническая простота, богоискательство. И моя статья «Ритмы Евразии» [7].

Судьба окончательно свела ученого и писателя, когда в 1935 г. Ремизов с женой переехали на свою последнюю парижскую квартиру на улице Буало, 7, где их соседом по дому оказался Никитин. Со временем он входит в круг ближайших друзей писателя, более того, каждое свое посещение он со свойственной ему скрупулезностью фиксирует в записях, составивших своеобразную хронику — «ремизовиану» (1943-1957).

Никитин стал вдохновителем и постоянным участником «восточных бесед», проходивших на квартире Ремизова в знаменитой Кукушкиной комнате по четвергам. Знаток Ближнего Востока, эрудит, умелый рассказчик, он заражал присутствующих своей увлеченностью. А если болезнь нарушала установившийся порядок, то отсутствие ученого сразу ощущалось. «Я была у А<лексея> М<ихайловича> вчера, — писала Никитину Резникова, — без вас наши четверги пусты и унылы, и мы ждем не дождемся восстановления нашей традиции — четвергов с путешествиями на Восток и в века» [8].

Писатель был душевно привязан к Никитину. «Дорогой Василий Петрович! — обращался он к нему в письме от 11 сентября 1954 г. — Всё жду Вас. Без Вас пусто в Кукушкиной. И спросить некого. И рассказать некому» [9]. Для него Никитин — высший авторитет в области этимологии, которая всегда была притягательна для писателя с его пристальным вниманием к слову и его историческим корням. «Откуда у нас чан? — спрашивал он в одном из писем. — Чану соответствует котел. У Ушакова нет. Буду Вам очень благодарен» [10]. Никитин не замедлил удовлетворить лингвистическое любопытство писателя. Вот что он отвечает: «Дорогой Алексей Михайлович. Сначала казалось, что чан персидского происхождения, как лохань от леген, оба предмета домашнего обихода. Но в персидском языке нет ничего подходящего. Посмотрел у турок, и, конечно, наш чан — слово тюркское. По-турецки чан — колокол. Опрокинутый, он и есть чан! Но еще лучше: чанак — глиняная чашка, блюдо, миска. Тут и опрокидывать не нужно, а основа чан налицо. Вы знаете, вероятно, другое турецкое слово того же назначения: казан — котел. — Когда я бродил пешком по Болгарии (1907), то был в городишке Казан, Восточные Балканы; назван так, будучи в котловине среди гор» [11].

Постоянно интересуясь этимологией своей фамилии и создавая вокруг неё мифопоэтический ореол, Ремизов учитывал в своей «игре» и возможные восточные ассоциации. Об этом — в одной из его автобиографических книг: «Из колядок меня заняли древнейшие песни, и по времени, и по имени, о

ремезе-птице. Есть таинственная птичка, и имя не простое: по-арабски «ремз» — тайна» [12]. Памятники персидской и арабской литературы и фольклора, исторические реалии, имена — Никитин был рад дать консультацию, комментарий, найти объяснение, принести нужные книги. Ремизов питал почтение к учености Никитина и, поздравляя его накануне Васильева дня, писал со свойственной ему словесной изобретательностью и этимологическими экскурсами-загадками: «В какой отмеченный день Вы родились: в навечерие Васильева дня в полночь разговаривают звери. Вот откуда Ваш жребий — слово и книга. А Ваша пытливость к загадкам. Не разгадан в закличке Велесовых (Васильевых) книг песен припев: «Таусень-Таусень». Новогодний Василий — недавнее, а «Таусень» кликала Ольге Малуша. Я уверен, Вы слышали эту закличку» [13]. Письмо иллюстрируется характерным графическим рисунком Ремизова с подписью — словами языческой заклички: «Птицы из Ирья летят. Таусень-Таусень».

Проникновенные страницы — гимн дружбе — посвятил писатель Никитину в своей книге «Мышкина дудочка». Характерно, что Ремизов раскрывает перед читателем не только привлекательные черты личности ученого, но и свои «восточнические» пристрастия. «Я люблю Восток, — пишет Ремизов в главе «Оракул», — а Персию особенно: моё пристрастие к каллиграфии — «Тысяча и одна ночь» — Огонь — Заратустра — Мани... В Казани в мечетях меня принимали за своего и я обряжался в туфли, как правоверный, с тибетскими ламами я не чувствовал себя «иностранцем»... Мое восточное соединяет меня с нашим востоковедом, «Эмиром» [14] Василием Петровичем Никитиным, чудесником нашего Оракула и черно-книжником (черными книгами весь его подвал забит). Жил «Эмир» на 4-м <...>, а теперь на 8-м, выше некуда. В светлые ночи, после трудов, любитесь он на Париж, вышептывая любимые стихи Мухаммада Икбала [15], из Лахора:

*Долина любви очень далека, дорога длинная, но  
свершение столетнего пути в одном вздохе мгновенно.  
В поисках трудись и не выпускай из рук полы надежды,  
богатство там, ты обретишь его в конце пути мгновенно.*

<...> Его называют марид — «дух отречения и изгнания», возможно, что он и есть «марид», но только добрый из маридов — «инфид» <...>. Он знает мое пристрастие к словам и к чудесному — к тому, что не бывает, а только живет в человеческом желании — к легендам, сказкам, вымыслам. Из каждого нашего свидания я всегда что-нибудь получаю чудесное и всегда жду персидской субботы» [16].

Никитин стал для Ремизова незаменимым помощником в работе над памятниками восточной письменности, которые все настойчивее влекли к себе писателя. В 1950 г. в меценатском издательстве «Оплешник», созданном друзьями и почитателями Ремизова, вышла его книга «Повесть о двух зверях. Ихнелат». Это пересказ древнерусского памятника «Стефанит и

Ихнелат» в редакции XVII в. Восходит он к индийскому («Панчатантра») и арабскому («Калила и Димна») источникам. Сохранились свидетельства самих участников творческого союза. Своими впечатлениями о «восточных беседах» Ремизов делился с Кодрянской: «Никитин рассказывал о «Панчатантре» (перевод с французского). Рассказывают два шакала о зверях. Оказывается, есть персидские павлиньи сказки; и есть попугайные — монгольские» [17]. Никитин, в свою очередь, сообщал итальянскому слависту Э.Ло Гатто о ремизовских «штудиях»: «Он всегда очень интересовался Востоком, благодаря чему мы смогли вместе изучить некоторые рассказы XVII столетия восточного происхождения, хотя они проникли в Россию западным путем — польским и чешским» [18].

Никитин ведет речь о работе над сборником XVII в. «История семи мудрецов» (арабский её прототип — «Книга Синдбада»), который стал неиссякаемым источником заимствований для развивавшейся европейской новеллистики. Из неё и была извлечена повесть, сохранившая, по словам Ремизова, её последнего «переписчика», «память о зверях-людях и о человеке-звере» [19].

Из никитинской «ремизовианы» становится известно, что ученый знакомил писателя с образцами арабской поэзии разных веков, с суфийской лирикой, с персоязычной прозой, в том числе и современной. Все это находило отклик в душе писателя и запечатлевалось в творческой памяти. В знак многолетней дружбы и общности интересов Ремизов получил в подарок книгу Никитина о курдах — плод его углубленных занятий Ближним Востоком — с надписью: «Мы часто беседовали о Востоке, эта книга о том же — от любящих Вас Л.Л. и В.П.Н<икитиных>» [20].

Всю жизнь Ремизов размышлял о природе художественного творчества и его первоосновах. Как писателя его влекли и были переживаемы им самим те особые состояния сознания, когда смутно различимы сон и явь, вымысел и реальность, когда грани между ними становятся зыбкими и взаимопроницаемыми. Достижение такого сумеречного состояния и пребывание в нем — необходимый, по его мнению, момент творческого процесса. «Я люблю всё, что не «реально» [21], — признавался Ремизов. Еще на заре своего писательского бытия, в 1903 г., он высказал заветную мысль, ставшую его символом веры: «... нужно высвободиться из-под налетающей пыли житейских впечатлений: И! — такие песни услышим, не «завянут уши». Тогда и жизнь сама явится в ином виде — другим лицом» [22]. Отсюда и призыв его: «Записывайте свои сны. «Страшного», «страшного» побольше», — и его собственные многолетние записи снов, легшие в основу неизданной книги «Мерлог». В ней он объясняет мотивы своего обращения к сфере бессознательного. «Реальная жизнь, — пишет Ремизов, — ограничена и стеснена трехмерностью; принуждение проникает все часы бодрствования, во сне же, когда человек освобождается прежде всего из-под власти трехмерного пространства, впервые появляется чувство «свободы» и сейчас же обнаруживаются чудеса «совместности» и «одновременности» действия, немислимые в дневном состоянии» [23]. Не здесь ли истоки своеобразной «философии творчества» Ремизова, ключ к пониманию его письма?

Одаренный чуткостью к сказке и сну, мистическим чувствованием и провидением, писатель каким-то внутренним зовом был побуждаем обратить свой взор к Востоку — родине духовного знания, обители вдохновенных пророков и посвященных. «Глаз на Восток — там родина снов и сонников (снотолкований)» [24]. О своей способности к мысленному перевоплощению, о «вживании» в образную реальность Ремизов написал вдохновенные строки в «соннике» «Мартын Задека»: «О смерти Авраама я читал в апокрифах, и мне приснился Авраам, вознесенный на небеса <...>. По моему жаркому чувству, я как бы находился эту минуту с Авраамом <...>. Та же острота чувства и яркость видения мне говорят, что я был среди демонов в «воинстве» Сатанаила, в <...> крестный час смерти Христа <...> я провожал Петра, когда пропел петух и раскаяние выжгло мои следы <...>. Я с Николаем прошёл всю русскую землю и путями друидов от Нанси до Нанта» [25]. Вот какие встречи были уготованы писателю во время его «странствий» в веках! Интересно, что ремизовский дар «ясновидения» Никитин сопоставлял с мистическим опытом мусульманских духовидцев. Об этом он рассказывает в своих воспоминаниях: «А<лексей>М<ихайлович> во сне вел разговоры со своими живыми или уже покойными собеседниками. Очень любопытно отметить по этому поводу <...>, что многие шиитские мыслители отличались подобной же способностью, в такой степени, что если в их разговоре во сне с каким-нибудь имамом им, по пробуждении, что-нибудь казалось неясным, то, вновь пребывая во сне, они переспрашивали того же имама, который опять им снился, и получали от него должное объяснение» [26].

Можно с уверенностью сказать, что интерес к суфизму возник у Ремизова не только благодаря «удачному» соседству его, писателя-сказочника, «чудесника», «мага» и ученого-ориенталиста. Элементы суфийской мудрости совпадали с собственными духовными и творческими устремлениями и интуицией писателя. Помните его внимание к «пограничным» психологическим состояниям, к потаённым законам сна и памяти, к передаче интуитивного опыта в слове, к «чудесному»?

Обращение к Востоку и постижение новых культурных миров открывало перед Ремизовым новый простор для осмысления природы художественного творчества, и именно в том направлении, которое он избрал в молодости и которого последовательно придерживался на протяжении своего долгого пути художника. Ведь создаваемая им «субъективная реальность» всегда возникает на «переходе» между разными сферами сознания (рациональное и иррациональное), разными типами художественного творчества (фольклор и литература). Писатель интересовался «следами» прошлого в современности, языковой и культурной «напряженностью» между различными традициями (Восток и Запад). И теперь, обратившись к духовному наследию Востока, он продолжал поиски — те поиски, которые определили его писательскую оригинальность — глубинных оснований для диалога разных культур, в данном случае Востока и Запада, и находил такую объединяющую основу в фольклорно-мифологическом и религиозно-мистическом сознании.



Примечания

1. Ремизов А. Павлиньи перья. [Предисловие] // Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. — Берлин—Пг.—М., 1923. С. 8.
2. Флоровский Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов. Публикация С.С.Хоружего // Начала. 1991. № 3. С. 35.
3. Резникова Н. Огненная память. Воспоминания об Ал.Ремизове. — Berkeley, 1980. С. 142.
4. Кодрянская Н. Алексей Ремизов. — Париж, 1959. С. 112.
5. Nikitine V. Mes reminiscences polono-orientales / Notes autobiographiques // Folia orientalis. — Krakow, 1960, t.П, f.1-2, s.153-176.
6. См. рус. пер.: Никитин В. Курды / Пер. с фр. — М., 1964.
7. Nikitine V. Mes reminiscences ..., s.175.
8. Институт русской литературы РАН, Пушкинский Дом (ИРЛИ). Ф.256. Оп. 4. Ед.хр. 18.
9. ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед.хр. 7.
10. ИРЛИ. Там же.
11. ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед.хр. 141.
12. Ремизов А. В розовом блеске. — Нью-Йорк, 1952. С. 333.
13. ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед.хр. 7.
14. Эмир — «титул» Никитина в Обезьяньей Великой и Вольной Палате, шуточном обществе, придуманном Ремизовым.
15. Икбал Мухаммад (1873 или 1877-1938) — индопакистанский поэт, философ; писал на урду и персидском языке.
16. Ремизов А. Мышкина дудочка. — Париж, 1953. С. 69, 70.
17. Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. — Париж, 1977. С. 69.
18. ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 4. Ед.хр. 14.
19. Ремизов А. Предисловие // Кодрянская Н. Сказки. С. 11.
20. Текст приведен в записи Никитина (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед.хр. 41).
21. Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. С. 96.
22. На вечерней заре. Переписка А.Ремизова с С.Ремизовой-Довгелло / Подготовка текста и комментарии А. д'Амелия // Europa Orientalis, IV, 1985, s.162.
23. Там же. С. 188.
24. Ремизов А. Неизданный «Мерлог». (Публикация А. д'Амелия) // Минувшее. Исторический альманах. — Paris, 1987. № 3. С. 229.
25. Ремизов А. Мартын Задека. Сонник. Париж, 1954. С. 95.
26. Никитин В.П. «Кукушкина» (памяти А.М.Ремизова). Воспоминания // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед.хр. 44.

